



## Г. РОБАКИДЗЕ

### Петр Чаадаев

Высокий. Худой. Стройный. Лицо бритое: сухое, бледное, перегоревшее. Сталь во взоре серо-голубых глаз. Суровая линия верхней губы; мягкая — нижней: в сочетании — острая ирония. Голый гранитный череп — державный интеллект. «Медаль в человечестве» — так казалось это лицо Тютчеву (свидетельство М. Гершензона). Открытый взор и печальная усмешка — по характеристике Герцена. Бодрость ума и постоянная грусть — по словам Хомякова. Аристократ во всем. Содержит собственных лошадей. Завсегдатай «Английского клуба». Незаменимый в светских салонах. Изысканные манеры. Чарует женщин, но держит себя в стороне: не имеет «романа». Замкнут в себе. Молчаливый. Сдержанный. Умеет носить маску. Гордый. Независимый. Смелый. Посылает чуть ли не дерзкое письмо императору Николаю Первому — и недоумевает, что ему не отвечают (второй раз). Переписывается с Шеллингом. Бывший гвардеец. Принимал участие в «Союзе Благоденствия». Масон.

Какой-то чужеземец с русской фамилией: Чаадаев — как будто псевдоним. Не похож на русского. Даже в костюме. Одевается изысканно. Один иностранный граф заметил однажды, что Чаадаева надо бы заставить разъезжать по Европе, чтобы показать «*un russe parfaitement comme il faut*». Слегка презрительное отношение ко всему русскому. Свидетельство Герцена: «В Москве, говаривал Чаадаев, каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью: или, может, этот большой колокол без языка — иероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое».

Да! Чаадаев отрешен от всего «русского». Более того: от всего «человеческого». По свидетельству биографов, в нем была врожденная атрофия полового инстинкта. Огромный факт: значит, и в сфере пола он был «довлеющим себе». Не отсюда ли его почти нечеловеческий индивидуализм?! Сам в себе — до конца. Отсюда — один шаг до солипсизма (положение: вне меня нет реальности). Но Чаадаев сделал шаг в другую сторону и спас себя от одиночества в хаосе. Жизнь в Боге — вот выход. Является новое лицо Чаадаева: как бы внутренний лик в лице. До сих пор была маска. Отрешенность, гордость, замкнутость, демоничность. Теперь «лицо»: слиянность, претворенность, завершенность, божественность. И действительно: в сфере «маски» он державен сатанински: независим, решителен, железен; в сфере «лица» наоборот: он весь — жертва, отдача, угасание. Его изумительный дневник блестяще подтверждает это: он ничего не начинает без того, чтоб не заглянуть на случайную страницу Евангелия, чтоб узнать, как поступить. Тут до конца дан феномен Чаадаева: нужно было, чтобы в сфере «человеческого» демонически отрешиться от всего, чтобы вольно-жертвенно завершиться в лоне «божественного».

Жизнь в Боге — это центральная идея Чаадаева. Мировая история — это пластическое воплощение божественного. Конкретный образ этого воплощения — Христос. Жизнь во Христе — внутренняя задача человека. Человечество вышло из лона Божества — оно должно вернуться в лоно божественное. Как вернуться? Постоянной победой в себе над материальными стихиями: но не грубо-насильственно, а путем непрерывного их преодоления духом в росте творческих выявлений всех потенций этих стихий. Тут Чаадаев соприкасается с католицизмом. Указывали на зависимость его идей: от де Местра — идея исторической преемственности; от Бональда — идея воспитания человечества Богом. И Чаадаев, увлекаемый мистическим учением Шеллинга, имел, бесспорно, уклон к католицизму. Но тут вовсе не важен вопрос об «оригинальности». Для Чаадаева имело значение совсем другое: это — необычайное напряжение в мысленном переживании этой идеи, та почти нечеловеческая проникнутость его существа этой идеей. Чаадаев пластически переживал идею «жизни в Боге», — и своеобразный тонус этого переживания — страстный, поистине эротический — сообщал этой идее пафос нового, неслыханного, нутряного. Чаадаев горел этой идеей где-то там, внутри: отсюда необычайная сосредоточенность горения. Он редко выражал свой огонь: отсюда — необычайная сгущенность переживания. И, когда высказывал

он свои мысли, казалось, будто целая раса думала до него, но думала в нем. Отсюда — необычайная сжатость его слова, — как будто внутреннее горение вдруг приняло форму материального тела, — и поистине заклинательные речения Чаадаева кажутся обломками огромного метеорита. И прав М. Гершензон: «...за один этот строгий пафос мысли его “Философские письма” должны быть отнесены к области словесного творчества наравне с пушкинской элегией или повестью Толстого. Чаадаев любил готический стиль: его философия — словесная готика. Во всемирной литературе немного найдется произведений, где так ясно чувствовались бы стихийность и вместе гармоничность человеческой мысли» (монография о Чаадаеве, с. 75–76).

И в этом — Чаадаев опять не русский вовсе: какой-то иностранец с русской фамилией. Но не таков ли по существу Петр?! И не таков ли Пушкин?! Первый весь — один волевой акт, а русский народ — одно созерцание; второй весь — мерный строй солнечного гения, а русский народ — одна хмельная безмерность «родимого хаоса». Но в глубине это видимое противоречие снимается: Петр и Пушкин — идеальные данности русского духа: чем он создан быть и чем он должен стать. В акте исторического становления Петр диалектически постулирует волю русского народа от созерцательности к действительности, равным образом и Пушкин в том же акте становления имманентно направляет творческий гений русского духа от хаотической безмерности к солнечной мерности. Таков, по-моему, и Чаадаев, только в иной плоскости: он собой указывает строгий путь от мечтательной распыленности ума к железной диалектичности интеллекта. Поэтому он и поставил впервые ясно и строго «проблему России».

В чем проблема России? Сначала факты. Будем цитировать первое «Философское письмо». «Мы не принадлежим ни к одному из семейств человеческого рода, — начинает Чаадаев, — мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиции ни того ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода». И еще — в «Апологии сумасшедшего»: «Мы просто северный народ и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга». И далее (в том же письме): «Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязало бы, что пробуждало бы в нас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа

ни вне, ни внутри нас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам». Исторический опыт для нас не существует — и нет исторической преемственности для нас. «Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое пространство — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы нам о прошлом». Нет прошлого в нас для нашего утверждения. Мы пришли в мир «подобно незаконным детям без наследства, без связи с людьми» — в нас нет истории. «Наши воспоминания не идут дальше вчерашнего дня: мы, так сказать, чужды самим себе». Отсюда: «Мы растем, но не созреваем». И поэтому нет в нас твердости и закономерности: «Западный силлогизм нам не знаком... Лучшие идеи, за отсутствием связи и последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки». Ясен и подвиг Петра: в «Апологии сумасшедшего» Чаадаев говорит: «Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова “Европа” и “Запад”: с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна двигаться, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно». И Чаадаев (в том же письме) делает вывод: «В общем, мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять: ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке». Чаадаев дает и объяснение этого факта: это — отсутствие животворного начала христианской идеи в жизни русского народа. Принцип христианства — действительное единство. В продолжение пятнадцати столетий в жизни европейских народов постепенно воплощалось это единство, и потому у них есть история, и притом одна, несмотря на всевозможные различия. В жизни русского <народа> этого единства не было, и отсюда — отсутствие у него истории и предрасположение к хаосу.

Философское письмо (первое) Чаадаева было написано в 1829 году. Переведенное на русский язык (с французского) и опубликованное в «Телескопе» в 1836 году (без имени автора),

оно произвело потрясающее впечатление. Император Николай Первый выразился: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного». Чаадаева разыскивали; объявили ему приказ царя о признании его умалишенным; за ним установили медико-полицейский надзор. Основной идеи Чаадаева не понял никто: все упустили из виду его тезис — обратили внимание только на вывод (о России). Ошиблись как отрицатели, так и приверженцы. Даже ясный Герцен не избег ошибки. Он увидел в письме Чаадаева только «выстрел, раздавшийся в темную ночь», и, по соображениям революционного характера, рукоплескал ему. Понял Чаадаева единственно Пушкин (этим он лишний раз показал свой гениальный ум: замечательно, что, в свою очередь, Чаадаев первый осознал гений Пушкина до конца и, призывая его на работу, писал ему: «Киньте крик к небу — оно вам ответит»), — и Пушкин, став на точку зрения Чаадаева, возражал ему: судьба России не есть случайность — она была призвана оградить христианскую Европу от варварского разгрома и потому ей пришлось жить отдельно от христианского мира.

«Всякий человек живет, но только человек гениальный или поставленный в какие-нибудь особенные условия, имеет настоящую историю», — говорит Чаадаев в «Апологии сумасшедшего». Веря в гений Петра и в гений Пушкина, Чаадаев не мог не поверить в конце концов в гений России, и он, исчерпав свое отрицание России в первом философском письме, диалектически должен был повернуть свой взор на что-то особенное в феномене России. Это было тем возможнее, что он в своем письме несколько раз (правда, туманно) упоминал о некотором «уроке», который якобы должна явить Россия отдаленным поколениям. И действительно: Чаадаев, даже до опубликования своего письма в «Телескопе» оставаясь верным своей идее, несколько изменил (или, скорее, дополнил) свои размышления о России. Изолированность России ему кажется теперь особым путем Провидения. На основании писем Чаадаева (относящихся к 1835—1837 годам) М. Гершензон так формулирует новые положения Чаадаева: первая особенность России — девственность русского духа (следовательно, последний спокойно и беспристрастно разберется в западноевропейских вопросах); вторая особенность — Россия появилась позже (следовательно, к ее услугам западноевропейский опыт); третья особенность (главная) — в России христианство осталось чистым от соприкосновения с земными интересами, оно только молилось и смирялось. Отсюда: если

католическая форма христианства *действенна* (но зато не совсем чиста от земных моментов), то православная форма христианства *созерцательна* (но зато она свободна от всякой земной примеси), и, следовательно, обе формы равноправны. В католичестве телесно воплощалось христианство; это — огромный факт; в православии христианство смирялось и молилось, — но «за это именно здесь оно и будет осенено своими последними и самыми могущественными вдохновениями». То же самое говорит Чаадаев и в «Апологии сумасшедшего»: «Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен» и, следовательно, не подавлены «традициями и воспоминаниями». Имея в виду религиозную особенность России, Чаадаев утверждает: «Мир искони делился на две части — Восток и Запад. Это не только деление, но также и порядок вещей... Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке». И наконец открытое признание в своем любовном отношении к России: «Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его».

Такова монументальная концепция Чаадаева. Она диалектически постулирует всю дальнейшую русскую мысль по сие время касательно глубокой проблемы России. Восток и Запад — не географическое деление, а два порядка вещей. Эта мысль проходит через все русское мирозерцание. Прежде всего — славянофильство: оно пришло к аналогичному выводу. Но, как справедливо определяет М. Гершензон, разница есть, и она в пользу Чаадаева — славянофильство утверждало: мы — лучший народ и потому обладаем истиной в православии; Чаадаев утверждал наоборот: мы обладаем истиной в православии, и это лучшая наша особенность\*. Далее: тот же М. Гершензон совершенно справедливо усматривает тождество между взглядами Чаадаева и положениями Вл. Соловьева; на Западе — организация церковной деятельности, на Востоке — сохранение церковной истины. К этому надо добавить, что Вл. Соловьев также был расположен к католицизму и жаждал объединения церквей, как и Чаадаев. Еще М. Гершензон верно указывает на политико-социальное продолжение мысли Чаадаева об особенностях России через Герцена в позитивистическом (социологическом) славянофильстве: только вместо православия тут на сцену выходит «община». Параллель можно было продолжить

---

\* Хотя, по-моему, момент «избранности» стирает до некоторой степени эту разницу; взгляд на этот вопрос Вл. Соловьева не совпадает, как это кажется Гершензону, со взглядом Чаадаева.

и дальше. Так, например, ожидание Д. Мережковским «третьего Царства» (царства Духа), несомненно, заложено в мысли Чаадаева о новом откровении; идея Н. Бердяева о «пророческой Руси» тоже восходит к ожиданию Чаадаевым новых, «могущественных вдохновений»; мысль Вяч. Иванова, что русский народ характеризуется «пафосом совлечения» и «любовью к нисхождению», можно вывести из слов Чаадаева об исторической простоте русского народа. И т. д. и т. п. Но главное в другом: Чаадаев первый осознал до корней какой-то изначальный хаос в русской душе, и углубление этого осознания в творчестве Достоевского и Андрея Белого — это только художественное раскрытие гениальной идеи Чаадаева. Чаадаев явился подлинным пророком России: взгляните на современность России, на ее безумие — и вы сразу вспомните Чаадаева с его концепцией русского хаоса. Проблема России поставлена впервые Чаадаевым. Проблема эта по сей день ждет своего разрешения. Нет сомнения, что она будет решена по линиям, указанным Чаадаевым. В этом — его пророческая гениальность.Ц

